

ОДИНОЧЕСТВО

После полудня стало так жарко, что пассажиры I-го и II-го классов один за другим перебрались на верхнюю палубу. Несмотря на безветрие, вся поверхность реки кипела мелкой дрожащей зыбью, в которой нестерпимо ярко дробились солнечные лучи, производя впечатление бесчисленного множества серебряных шариков, невысоко подпрыгивающих на воде. Только на отмелях, там, где берег длинным мысом врезался в реку, вода огибала его неподвижной лентой, спокойно синевшей среди этой блестящей ряби. На небе, побледневшем от солнечного жара и света, не было ни одной тучки, но на пыльном горизонте, как раз над сизой и зубчатой полосой дальнего леса, кое-где протянулись тонкие белые облачка, отливавшие по краям, как мазки расплавленного металла. Черный дым, не подымаясь над низкой закоптелой трубой, стлался за пароходом длинным грязным хвостом.

Покромцевы, муж и жена, тоже вышли на палубу. Их вовсе не стесняло окружавшее многолюдное и совершенно незнакомое общество; наоборот, они в нем чувствовали себя еще ближе, еще теснее друг к другу. Они были женаты уже три месяца — именно такой срок, после которого молодые супруги особенно охотно посещают театры, гулянья

и балы, где, затерявшись в толпе чужих людей, они глубже и острее чувствуют взаимную близость, обратившуюся в привычку за время медового месяца. Лишь изредка они обменивались незначительным односложным замечанием, улыбкой или долгим взглядом. И он и она испытывали то полное, ленивое и сладкое счастье, которое дает только путешествие, сопровождаемое молодостью и беззаботной удовлетворенной любовью.

Снизу, из машинного отделения, вместе с теплым запахом нефти, доносилось непрерывное шипение, мягкие удары работающих поршней и какие-то глубокие, правильные вздохи, в такт которым так же размеренно вздрагивала деревянная палуба «Ястреба». Под колесами парохода клокотала вода, выбрасывая сердитые бугры белой пены. За кормой, торопливо догоняя ее, бежали ряды длинных, широких волн; белые курчавые гребни неожиданно вскипали на их мутно-зеленой вершине и, плавно опустившись вниз, вдруг таяли, точно прятались под воду. Расходясь по реке все шире, все дальше, волны набегали на берег, колебали и пригибали к земле жидкие кусты ивняка и, разбившись с шумным плеском и пеною об откос, бежали назад, обнажая мокрую песчаную отмель, всю изъеденную прибоем.

Кое-где на кустах висели длинные рыбацьи сети. Чайки с пронзительным криком летели навстречу пароходу, сверкая на солнце при каждом взмахе своих широких, изогнутых крыльев. Изредка на болотистом берегу виднелась серая цапля, стоявшая в важной и задумчивой позе на своих длинных красноватых ногах.

Но это однообразие не прискучивало Вере Львовне и не утомляло ее, потому что на весь божий мир она глядела сквозь радужную пелену тихого очарования, переполнявшего ее душу. Ей все казалось милым и дорогим: и «наш» пароход — необыкновенно чистенький и быстрый пароход! — и «наш» капитан — здоровенный толстяк в парусиновой паре и клеенчатом картузе, с багровым лицом, сизым носом и звериным голосом, давно охрипшим от непогод, оранья и пьянства, — «наш» лоцман — красивый, чернобородый мужик в красной рубаше, который вертел в своей стеклянной будочке колесо штурвала, в то время как его острые, прищуренные глаза твердо и неподвижно смотрели вдаль. Слегка облокотившись на проволочную сетку, Вера Львовна с наслаждением глядела, как играли в волнах белые барашки, а в голове ее под размеренные вздохи машины звучал мотив какой-то самодельной польки, и с этим мотивом в странную гармонию сливались и шум воды под колесами и дребезжание чашек в буфете...

Иногда навстречу «Ястребу» попадался буксирный пароход, тащивший за собою на толстом канате длинную вереницу низких, неуклюжих барок. Тогда оба парохода начинали угрожающе реветь, что заставляло Веру Львовну с испуганным видом зажмуривать глаза и затыкать уши...

Вдали показывалась пристань — маленький красный домик, выстроенный на барке. Капитан, приложивши рот к медному рупору, проведенному в машинное отделение, кричал командные слова, и его голос казался выходящим из глубокой бочки. «Самый малый! Ступ! Задний ход! Сту-уп!..» С ниж-

ней палубы выбрасывали канат, и он, развиваясь в воздухе, с грохотом падал на крышу пристани. Матросы по дрожащим сходням выносили на берег громадные кули и мешки, сгибаясь под их тяжестью и придерживая их железными крюками. Около станции толпились бабы и девчонки в красных сарафанах; они навязчиво предлагали пассажирам вялую малину, бутылки с кипяченым молоком, соленую рыбу и баранину. Ямские лошади, над которыми вились тучи слепней, нетерпеливо позвякивали бубенчиками и колокольцами...

Жара понемногу спадала. От воды поднялся легкий ветерок. Солнце садилось в пожаре пурпурного пламени и растопленного золота; когда же яркие краски зари потухли, то весь горизонт осветился ровным пыльно-розовым сиянием. Наконец и это сияние померкло, и только невысоко над землей, в том месте, где закатилось солнце, осталась неясная длинная розовая полоска, незаметно переходившая наверху в нежный голубоватый оттенок вечернего неба, а внизу в тяжелую сизоватую мглу, подымавшуюся от земли. Воздух сгустился, похолодел. Откуда-то донесся и скользнул по палубе слабый запах меда и сырой травы. На востоке, за волнистой линией холмов, разрастался темно-золотой свет луны, готовый взойти. Она показалась сначала только одним краешком и потом выплыла — большая, огненно-красная и как будто бы приплюснутая сверху.

На пароходе зажгли электричество и засветили на бортах сигнальные фонари. Из трубы валили длинным снопом и стлались за пароходом, тая в воздухе, красные искры. Вода казалась светлее неба и уже не

кипела больше. Она успокоилась, затихла, и волны от парохода расходились по ней такие чистые и гладкие, как будто бы они рождались и застывали в жидком стекле. Луна поднялась еще выше и побледнела; диск ее сделался правильным и блестящим, как отполированный серебряный щит. По воде протянулся от берега к пароходу и заиграл золотыми блестками и струйками длинный дрожащий столб.

Становилось свежо. Покромцев заметил, что жена его два раза содрогнулась плечами и спиной под своим шерстяным платком, и, нагнувшись к ней, спросил:

— Птичка моя, тебе не холодно? Может быть, пойдем в каюту?

Вера Львовна подняла голову и посмотрела на мужа. Его лицо при лунном свете стало бледнее обыкновенного, пушистые усы и остроконечная бородка вырисовывались резче, а глаза удлинились и приняли странное, нежное выражение.

— Нет, нет... не беспокойся, милый... Мне очень хорошо, — ответила она.

Она не чувствовала холода, но ее охватила та щемящая томная жуть, которая овладевает нервными людьми в яркие лунные ночи, когда небо кажется холодной и огромной пустыней. Низкие берега, бежавшие мимо парохода, были молчаливы и печальны, прибрежные леса, окутанные влажным мраком, казались страшными...

У Веры Львовны вдруг явилось непреодолимое желание прильнуть как можно ближе к своему мужу, спрятать голову на сильной груди этого близкого человека, согреться его теплотой...

Он, точно угадывая ее мимолетное желание, тихо обвил ее половиной своего широкого пальто, и они оба затихли, прижавшись друг к другу, и, касаясь друг друга головами, слились в один грациозный темный силуэт, между тем как луна бросала яркие серебряные пятна на их плечи и на очертание их фигур.

Пароход стал двигаться осторожнее, из боязни наткнуться на мель... Матросы на носу измеряли глубину реки, и в ночном воздухе отчетливо звучали их протяжные восклицания: «Ше-есть!.. Шесть с половиной! Во-осемь!.. По-од таба-ак!.. Се-мь!» В этих высоких стонущих звуках слышалось то же уныние, каким были полны темные, печальные берега и холодное небо. Но под плащом было очень тепло, и, крепко прижимаясь к любимому человеку, Вера Львовна еще глубже ощущала свое счастье.

На правом берегу показались смутные очертания высокой горы с легкой, резной, деревянной беседкой на самой вершине. Беседка была ярко освещена, и внутри ее двигались люди. Видно было, как, услышав шум приближающегося парохода, они подходили к перилам и, облокотившись на них, глядели вниз.

— Ах, Володя, посмотри, какая прелесть! — воскликнула Вера Львовна. — Совсем кружевная беседка... Вот бы нам с тобой здесь пожить...

— Я здесь провел целое лето, — сказал Покромцев.

— Да? Неужели? Это, наверно, чье-нибудь имение?

— Князей Ширковых. Очень богатые люди...

Она не видела его лица, но чувствовала, что, произнося эти слова, он слегка разглаживает кон-

цами пальцев свои усы и что в его голосе звучит улыбка воспоминания.

— Когда же ты был там? Ты мне ничего о них не рассказывал... Что они за люди?

— Люди?.. Как тебе сказать?.. Ни дурные, ни хорошие... Веселые люди...

Он замолчал, продолжая улыбаться своим воспоминаниям. Тогда Вера Львовна сказала:

— Ты смеешься... Ты, верно, вспомнил что-нибудь интересное?

— О нет... Ничего... Ровно ничего интересного, — возразил Покромцев и крепче обнял талию жены. — Так... маленькие глупости... не стоит и вспоминать.

Вера Львовна не хотела больше расспрашивать, но Покромцев начал говорить сам. Ему приятно было, что его жена узнаёт, в какой широкой барской обстановке ему приходилось жить. Это щекотало мелочным, но приятным образом его самолюбие. Ширковы жили летом в своем имении, точь-в-точь как английские лорды. Правда, сам Покромцев был там только репетитором, но он сумел себя поставить так, что с ним обращались как со своим, даже больше того, — как с близким человеком. Ведь настоящих светских людей всего скорее и узнаешь именно по их очаровательной простоте. Лето промелькнуло удивительно быстро и весело: лаун-теннис, пикники, шарады, спектакли, прогулки верхом... К обеду все собирались по звуку гонга, непременно во фраках и белых галстуках, — одним словом, самое утонченное соединение строгого этикета с простотой и прекрасных манер с непри-

нужденным весельем. Конечно, в такой жизни есть и свои недостатки, но пожить ею хоть одно лето — и то чрезвычайно приятно.

Вера Львовна слушала его, не прерывая ни одним словом и в то же время испытывая нехорошее, похожее на ревность чувство. Ей было больно думать, что у него в памяти остался хоть один счастливый момент из его прежней жизни, не уничтоженный, не сглаженный их теперешним общим счастьем.

Беседка вдруг точно спряталась за поворотом. Вера Львовна молчала, а Покромцев, увлеченный своими воспоминаниями, продолжал:

— Ну, конечно, играли в любовь, без этого на даче нельзя. Все играли, начиная со старого князя и кончая безусыми лицеистами, моими учениками. И все друг другу покровительствовали, смотрели сквозь пальцы.

— А ты? Ты тоже... ухаживал за кем-нибудь? — спросила Вера Львовна неестественно спокойным тоном.

Он провел рукой по усам. Этот самодовольный, так хорошо знакомый Вере Львовне жест вдруг показался ей пошлым.

— Н-да... и я тоже. У меня вышел маленький роман с княжной Кэт. Очень смешной роман и, пожалуй, если хочешь, даже немного безнравственный. Понимаешь: девице еще и шестнадцати лет не исполнилось, но развязность, самоуверенность и прочее — просто удивительные. Она мне прямо изложила свой взгляд. «Мне, говорит, здесь скучно, потому что я ни одного дня не могу прожить без сознания, что в меня все кругом влюблены. Вы один здесь

только мне и нравиться. Вы недурны собой, с вами можно разговаривать, ну и так далее. Вы, конечно, понимаете, что женой вашей я быть не могу, но почему же нам не провести это лето весело и приятно?»

— Ну и что же? Было весело? — спросила Вера Львовна, стараясь говорить небрежно, и сама испугалась своего внезапно охрипшего голоса.

Этот голос заставил Покромцева насторожиться. Как бы извиняясь за то, что причинил ей боль, он притянул к себе голову жены и прикоснулся губами к ее виску. Но какое-то подлое, неудержимое влечение, копошившееся в его душе, какое-то смутное и гадкое чувство, похожее на хвастливое молодечество, тянуло его рассказывать дальше.

— Вот мы и играли в любовь с этим подлетком и в конце лета расстались. Она совсем равнодушно благодарила меня за то, что я помог ей не скучать, и жалела, что не встретила со мною, уже выйдя замуж. Впрочем, она, по ее словам, не теряла надежды встретиться со мною впоследствии.

И он прибавил с деланным смехом:

— Вообще, эта история составляет для меня одно из самых неприятных воспоминаний. Ведь правда, Верочка, гадко все это?

Вера Львовна не ответила ему. Покромцев почувствовал к ней жалость и стал раскаиваться в своей откровенности. Желая загладить неприятное впечатление, он еще раз поцеловал жену в щеку...

Вера Львовна не сопротивлялась, но и не ответила на поцелуй... Странное, мучительное и самой ей неясное чувство овладело ее душой. Тут была отчасти и ревность к прошедшему, — самый ужасный вид

ревности, — но была только отчасти. Вера Львовна давно слышала и знала, что у каждого мужчины бывают до женитьбы интрижки и связи, что то, что для женщины составляет огромное событие, для мужчины является простым случаем, и что с этим ужасным порядком вещей надо поневоле мириться. Было тут и негодование на ту унижительную и развратную роль, которая выпала в этом романе на долю ее мужа, но Вера Львовна вспомнила, что и ее поцелуи с ним, когда они еще были женихом и невестой, не всегда носили невинный и чистый характер. Страшнее всего в этом новом чувстве было сознание того, что Владимир Иванович вдруг сделался для своей жены чужим, далеким человеком и что их прежняя близость никогда уже не может возвратиться.

«Зачем он мне рассказывал всю эту гадость? — мучительно думала она, стискивая и терзая свои похолодевшие руки. — Он перевернул всю мою душу и наполнил ее грязью, но что же я могу ему сказать на это? Как я узнаю, что он испытывал во время своего рассказа? Сожаление о прошлом? Нехорошее волнение? Гадливость? (Нет, уж во всяком случае не гадливость: тон у него был самодовольный, хотя он и старался это скрыть) ... Надежду опять встретиться когда-нибудь с этой Кэт? А почему же и не так? Если я спрошу его об этом, он, конечно, поспешит меня успокоить, но как проникнуть в самую глубь его души, в самые отдаленные изгибы его сознания? По чему я могу узнать, что, говоря со мной искренно и правдиво, он в то же время не обманывает — и, может быть, совершенно невольно — своей совести? О! Чего бы я ни

дала за возможность хоть один только миг пожить его внутренней, чужой для меня жизнью, подслушать все оттенки его мысли, подсмотреть, что делается в этом сердце...»

И это страстное влечение слиться мыслью, отождествиться с другим человеком, приняло такие огромные размеры, что Вера Львовна, нечаянно для самой себя, крепко прижалась головой к голове мужа, точно желая проникнуть, войти в его существо. Но он не понял этого невольного движения и подумал, что жена просто хочет к нему приласкаться, как озябшая кошечка. Он пощекотал ее усами по щеке и сказал тоном, каким говорят с балованными детьми:

— Веруся бай-бай хочет? Верусенька озябла? Пойдем в каютку, Верусенька?

Она молча поднялась, кутаясь в свой платок.

— Верусенька на нас ни за что не сердится? — спросил Покромцев тем же сладким голосом.

Вера Львовна отрицательно покачала головой. Но перед трапом, ведущим в каюты, она остановилась и сказала:

— Послушай, Володя, тебе ни разу не приходило в голову, что никогда, понимаешь, никогда двое людей не поймут вполне друг друга?.. Какими бы тесными узами они ни были связаны?..

Он чувствовал себя немного виноватым и потому пробормотал со смехом:

— Ну вот, Верунчик, какую философию развела... Разве мы с тобой не понимаем друг друга?

В каюте он скоро заснул тихим сном здорового сытого человека. Его дыхания не было слышно, и лицо приняло детское выражение.

Но Вера Львовна не могла спать. Ей стало душно в тесной каюте, и прикосновение бархатной обивки дивана раздражало кожу ее рук и шеи. Она встала, чтобы опять выйти на палубу.

— Ты куда, мамуся? — спросил Покромцев, разбуженный шелестом ее юбок.

— Лежи, лежи, я сейчас приду. Я еще минутку посижу на палубе, — ответила она, делая ему рукою знак, чтобы он не вставал.

Ей хотелось остаться одной и думать. Присутствие мужа, даже спящего, стесняло ее. Выйдя на палубу, она невольно села на то же самое место, где сидела раньше. Небо стало еще холоднее, а вода потемнела и потеряла свою прозрачность. То и дело легкие тучки, похожие на пушистые комки ваты, набегали на светлый круг луны и вдруг окрашивались причудливым золотым сиянием. Печальные, низкие и темные берега так же молчаливо бежали мимо парохода.

Вере Львовне было жутко и тоскливо. Она впервые в своей жизни натолкнулась сегодня на ужасное сознание, приходящее рано или поздно в голову каждого чуткого, вдумчивого человека, — на сознание той неумолимой, непроницаемой преграды, которая вечно стоит между двумя близкими людьми. «Что же я о нем знаю? — шепотом спрашивала себя Вера Львовна, сжимая руками горячий лоб. — Что я знаю о моем муже, об этом человеке, с которым я вместе и ем, и пью, и сплю и с которым всю жизнь должна пройти вместе? Положим, я знаю, что он красив, что он любит свою физическую силу и холит свои мускулы, что он музыкален, что он читает стихи

нараспев, знаю даже больше, — знаю его ласковые слова, знаю, как он целуется, знаю пять или шесть его привычек... Ну, а больше? Что же я больше-то знаю о нем? Известно ли мне, какой след оставили в его сердце и уме его прежние увлечения? Могу ли я отгадать у него те моменты, когда человек во время смеха внутренне страдает или когда наружной, лицемерной печалью прикрывает злорадство? Как разобраться во всех этих тонких изворотах чужой мысли, в этом чудовищном вихре чувств и желаний, который постоянно, быстро и неуловимо несетя в душе постороннего человека?»

Внезапно она почувствовала такую глубокую внутреннюю тоску, такое щемящее сознание своего вечного одиночества, что ей захотелось плакать. Она вспомнила свою мать, братьев, меньшую сестру. Разве и они не так же чужды ей, как чужд этот красивый брюнет с нежной улыбкой и ласковыми глазами, который называется ее мужем? Разве сможет она когда-нибудь так взглянуть на мир, как они глядят, увидеть то, что они видят, почувствовать, что они чувствуют?..

Около четырех часов утра Покромцев проснулся и был очень удивлен, не видя на противоположном диване своей жены. Он быстро оделся и, позевывая и вздрагивая от утреннего холодка, вышел на палубу.

Солнце еще не всходило, но половина неба уже была залита бледным розовым светом. Прозрачная и спокойная река лежала, точно громадное зеркало в зеленой влажной раме оживших, орошенных лугов. Легкие розовые морщины слегка бороздили ее гладкую поверхность, а пена под парходными

колесами казалась молочно-розовой. На правом берегу молодой березовый лес с его частым строем тонких, прямых, белых стволов был окутан, точно тонкой кисеей, легким покровом тумана. Сизая, тяжелая туча, низко повисшая на востоке, одна только боролась с сияющим торжеством нарядного летнего утра. Но и на ней уже брызнули, точно кровавые потоки, темно-красные штрихи.

Вера Львовна сидела на том же месте, облокотясь руками на решетку и положив на них отяжелевшую голову. Покромцев подошел к ней и, обняв ее, напыщенно продекламировал голосом, разбухшим от здорового сна:

— «Вышла из мрака младая, с перстами пурпурными Эос...»

Но когда он увидел ее серьезное, заплаканное лицо, он точно поперхнулся последним словом.

— Верусенька, что с тобой? Что такое, моя дорогая?

Но она уже приготовилась к этому вопросу. Она так много передумала за эту ночь, что пришла к единственному разумному и холодному решению: надо жить, как все, надо подчиняться обстоятельствам, надо даже лгать, если нельзя говорить правду.

И она ответила, виновато и растерянно улыбаясь:

— Ничего, мой милый. Просто — у меня бессонница...

ВПОТЬМАХ

I

На дебаркадере одного из московских вокзалов шумно двигалась взад и вперед пестрая, разноголосая толпа. Окрики артельщиков, быстро и ловко сновавших с тюками и тележками, мимолетные отрывки обыкновенных вокзальных разговоров, шарканье нескольких сот ног о плитяной помост — все это, вместе с шипением машины, сливалось в утомляющую своим ритмическим однообразием суету.

У дверей вагона второго класса стояли трое молодых людей, в нетерпении ожидая третьего звонка.

Один из них, полный брюнет с выхоленным барским лицом, пробегал газету, дымя дорогой сигарой; другой — высокий, тонкий и гибкий, как хлыст, франтик, который как будто только что сорвался с первой страницы юмористического листка, — так много было в его фигуре, начиная с монокля и красной гвоздики в петлице и кончая удивительно узкими носками желтых ботинок, особенной, свойственной людям этого рода, вычурности, — держал под руку третьего, смуглого красавца в инженерной форме, с дорожной сумкой через плечо.

Все трое, по-видимому, сильно скучали и лишь изредка перебрасывались вялыми замечаниями.

Между ними было очень мало общего: случайно попавши на вокзал, они теперь сильно тяготились друг другом и в особенности неизбежной сценой прощания, где каждому предстояла неприятная обязанность притворяться растроганным.

К тому же они имели несчастье попасть на вокзал за целый час до отхода поезда, и все те разговоры, которые обыкновенно ведутся в этих случаях и которые способны своею неестественностью только раздражать нервы, уже давно были переговорены.

Неловкость этого положения особенно сильно испытывал на себе уезжающий инженер — Александр Егорович Аларин. Он любил шумную, кипучую жизнь вокзалов, любил смешаться с толпой, прислушиваясь и приглядываясь к ней, чувствуя себя в это время бодрым и веселым; но двое приятелей, которые встретились с ним случайно за обедом в «Славянском базаре» и после нескольких бокалов почувствовали, что не могут отпустить его не проводивши, связали его по рукам и ногам и испортили его расположение духа.

Раздался третий звонок, и у каждого из молчаливых приятелей вырвался вздох облегчения.

Суэта на платформе заметно усилилась.

— Ну, садись, Саша, садись, пожалуйста, — заторопился внезапно оживившийся франтик с моноклем. — Знаешь ведь, как курьерские поезда трогаются. Пиши же, смотри!..

Но ему стало неловко от собственных слов, так как, даже при самом искреннем желании, у него с Алариним не могло найтись никаких общих инте-

ресов. Он замолчал и полез целоваться, оставляя на губах Аларина запах фиксатуара, которым были намазаны его усы.

У полнолицего брюнета нашлось больше такта. Он молча широко улыбнулся, показав великолепные вставные зубы, и крепко стиснул руку Аларина. Он радовался тому, что сейчас кончится тяжелое и неловкое положение и он опять станет господином своего времени. Аларин понял его без слов и отвечал таким же красноречивым рукопожатием.

Паровоз свистнул, шум мгновенно возрос до галдения, застучали буфера вагонов, точно кто-то раза два встряхнул огромными железными цепями, и поезд тронулся.

Аларин высунулся из окошка. Его приятели махали платками, и ему казалось, что он вследствие этого обращает на себя общее внимание, но он, преодолевая смущение, махнул им, в свою очередь, фуражкой.

«И для чего эта комедия? — думалось ему. — Ведь мы все трое очень рады, что отделались друг от друга. Для чего ж это?»

Но в силу чего-то, бывшего сильнее его здравого смысла, он продолжал махать фуражкой до тех пор, покуда не затерял своих приятелей в густой толпе, покрывавшей платформу. И как только их совсем не стало видно, он опустил на диван.

Аларин, еще по воспоминаниям детства, инстинктивно избегал заводить знакомства в вагоне, так как на опыте убедился, что человек, долго едущий по железной дороге, ищет постоянно развлечения от сосущей сердце скуки и делается пошло-

любопытен, а вследствие этого докучает соседям ненужными расспросами. Поэтому-то и теперь Александр Егорович прислонился к углу дивана, стараясь не привлекать к себе ничего досужего внимания, закурил папиросу и искоса оглядел своих соседей.

Прямо против него сидела скромно одетая в серенькое драповое пальто и котиковую шапочку, по всей вероятности, барышня: последнее сказывалось в той особенной легкости и воздушности в фигуре, которые свойственны девушкам. Насколько позволяли видеть полутьма вагона и редкий вуаль, закрывавший ее лицо, она была совсем не хороша собою. Лицо с неправильными чертами было болезненно и бледно, тонкие сухие губы почти бескровны. Этих непривлекательных качеств не сглаживали даже синие глаза прекрасного очертания.

«Анемическая особа», — решил Аларин.

Барышня подышала на стекло, протерла его крошечной рукой в желтой перчатке и стала глядеть, не отрываясь, в черневшую перед ней мглу сентябрьской дождливой ночи. Ее лицо было грустно, и вся тоненькая, хрупкая фигурка жалко-беспомощна.

Рядом с бледной барышней помешался грузный мужчина восточного типа. Он обладал носом непомерной длины и толщины, крупными ярко-красными губами, которые никак не могли сойтись вместе, и большими глазами навывкат.

Как только поезд тронулся, восточный человек извлек из кармана золотые часы-луковицу со

множеством брелоков, внимательно разглядывал их и вдруг, с шумом захлопнув крышку, устался с изумленным видом на Аларина, на затылок барышни, в окошко, и затем, неожиданно свесив голову на грудь, поднял оглушительный храп. Он был чрезвычайно противен в эту минуту, с головой, болтавшейся во все стороны, и широко раскрытым ртом, придававшим его лицу идиотское выражение.

Аларин вдруг с озлоблением зевнул и тотчас закрыл глаза. Сначала ухо ловило размеренный ход поезда, но в уме звучал какой-то знакомый мотив, и к нему подбирались, рифмуя друг с другом, нелепые стихи; потом он вспомнил натянутые лица провожавших его приятелей, наконец, мысли его смешались, и он задремал.

Он проснулся через полчаса при остановке поезда. В разных углах слышалось сонное дыхание пассажиров, облака табачного дыма ходили, точно туманные волны. Где-то в конце вагона два голоса — молодой мужской и старушечий — наперерыв лепетали, споря и захлебываясь.

Аларин поглядел на девушку, сидевшую напротив него. Она боязливо забила в самый угол дивана и даже прижала рукой складки своего пальто, сторонясь от восточного человека, который, по-видимому, уже давно проснулся и теперь не сводил своих масляных глаз с ее испуганного лица. Должно быть, он только что обращался к ней с разговором, но не решался продолжать его из боязни быть услышанным посторонними в то время, когда поезд стоял.

Действительно, только что поезд тронулся, он нагнулся к девушке и с выразительной мимикой

заговорил что-то. Девушка ничего не отвечала, но все теснее прижималась к своему уголку.

— Чего, барышня, боишься? Я тебэ нэ мидвед, кусать не хочу. Ну? Поджалуста, прошу: нэ пугайся, — услышал Аларин хриплый голос.

— Оставьте меня, ради Бога, — произнесла в отчаянии барышня.

Ее свежий миленький голосок дрожал от волнения.

Аларин одну секунду подумал было осадить расходившегося в своих аппетитах восточного человека, но боязнь скандала, из-за которого многие порядочные люди стушевываются в то время, когда требуется их помощь, и, наконец, то обстоятельство, что барышня была нехороша собою, заставили его отложить свое намерение. «Сам отстанет», — решил он.

Но восточный человек с удивительным упорством не хотел прекратить свое назойливое ухаживание. На отчаянный протест своей соседки он глупо захихикал.

— Ну, ну, нэ горячись. Слушай, цыпка, что я тебе скажу. Сейчас приедем в К., слезай с вагона, поедем ко мне в гостиницу обедать. Ей-богу, поедем, весело будет! А назад поедешь, — я тебе билет куплю. Хорошо?

Девушка молчала, но Аларин заметил, что она вся дрожит.

— Чего молчишь? Хорошо? А? Ну, скажи, душа, хорошо?

И восточный человек вдруг схватил и крепко сжал рукой ее колено.

— Господи! Да что же это такое! — вскакивая с места, вскрикнула барышня. В ее голосе слышались слезы, через секунду она заплакала.

Аларин почувствовал, как у него сразу похолодели руки и по спине забегали мурашки.

— Слушайте, вы! — обратился он к нахалу и почувствовал в то же мгновение, что его голос силен и значителен. — Извольте сейчас же пересесть на другое место и оставить эту барышню в покое!

Из-за спинок диванов стали выглядывать заспаные лица пассажиров, разбуженных восклицанием.

Восточный человек отпустил ногу своей соседки.

— Ва! Ти мнэ началнык? — заговорил он, стараясь показаться дерзким, но, очевидно, порядком стухнув. — Садись сам на свой диван, а я не хочу уходить!

Публика стала волноваться.

— Что такое? В чем дело? Ишь ты, армяшка проклятый, кишмиш... В чем дело-то, господин? — слышалось с разных сторон.

Эти восклицания и нагло смеющееся жирное лицо восточного человека привели Аларина в бешенство.

— А-а? Не хочешь? — задыхаясь, воскликнул он. — Не хочешь?.. — И вдруг, совершенно неожиданно для самого себя, он схватил своего противника за воротник и с силой рванул со скамейки. — Не хочешь?.. — повторял он, чувствуя новый прилив силы и озлобления, когда бархатный воротник затрещал в его руках.

Восточный человек пронзительно завизжал. Он уцепился было за ножку дивана, но после того как Аларин, судорожно стиснув зубы, снова дернул его изо всех сил, он уже не пробовал сопротивляться. Аларин вытащил его на платформу. Мелкий осенний дождик, брызгавший в лицо, и холодный ветер отрезвили его; он выпустил из руки полуотрванный воротник и сказал, тяжело дыша:

— Убирайся живо из вагона, и чтобы духу твоего не было.

Восточный человек сделался кроток, как агнец.

— Чего таскал, — заговорил он укоризненно, — зачем не сказал, что самому тебе барышня понравилась? Горячий человек!..

Александр Егорович повернулся к нему спиной и ушел в вагон, крепко захлопнув за собой дверь.

II

Когда Аларин сел на свое место, пассажиры продолжали волноваться.

— Есть же такие мерзавцы, — негодовал кто-то вроде приказчика, маленький, головастенкий человек, весь обросший черным лесом курчавых волос. — Как же это, помилуйте, вдруг с такими глупостями лезть к одиноко едущей особе! Да им морду следует за это бить, а не то что...

Он обращался как будто к своей собеседнице — старушке, но голову поворачивал по направлению к барышне, с которой произошел этот неприятный

эпизод, вероятно ожидая, что она поддержит его негодование.

Однако она была так напугана и возмущена всем происшедшим, что лишь дрожала и молчала.

Аларин почувствовал глубокую жалость к этому беззащитному созданию.

«В самом деле, — подумал он, — чем может огрadyть себя от подобной назойливости эта худенькая девушка? У нее, кроме слез, нет никакого оружия, да и те не на всякого действуют».

Однако в то же время, хотя ему и было неловко от обращенных на него со всех сторон глаз, он все-таки в глубине души немножко любовался своей «бешеной вспыльчивостью», с большим удовольствием припоминая ту тишину, которая наступила в вагоне, когда он закричал: «Не хочешь?»

Все это требовало теперь нескольких утешительных, пожалуй, даже великодушных слов, которые должны были окончательно успокоить бедную барышню.

Эти ощущения смешивались весьма странным образом. Аларин, вообще склонный к анализу своих внутренних побуждений, часто замечал в себе подобную двойственность, и если на него находила в это время минута самобичевания, то он называл себя с горечью «раздвоенным человеком».

Когда глазающие из-за диванов головы малопомалу скрылись, Аларин наклонился к своей соседке.

— Успокойтесь, ради Бога, — ласково и тихо сказал он, стараясь заглянуть ей в лицо, — все подобные господа ужасные трусы и негодяи, и из-за

них волноваться не стоит. Может быть, я вас тоже напугал?

— Ах, я действительно так перепугалась! — отвечала девушка, улыбаясь сквозь слезы. — У меня сердце до сих пор еще стучит. Вы были так рассержены, что я думала, вы его убьете. Я не знаю, как благодарить вас.

И она быстро протянула Аларину руку и опять застенчиво улыбнулась.

У нее была очаровательная улыбка, обнаруживавшая ровные и блестящие зубы и образовавшая на каждой щеке по две ямочки. Эта улыбка освещала и делала чрезвычайно симпатичным ее лицо.

— С ним, слава Богу, ничего не случилось, — произнес Аларин, невольно отвечая на ее улыбку, — но это послужит ему на будущее время хорошим уроком. Если такие наглецы, как вот этот, время от времени не получают таких энергичных встрясок, то это обычно располагает их к дальнейшим действиям такого же характера. Интересно, почему он к вам так пристал?

Он сказал это и тотчас же спохватился и сконфузился. Ведь, конечно, эта худенькая девица боялась даже обернуться на своего пылкого соседа и не могла ни одним взглядом дать ему повод к приставаниям. Но она была так далека от понимания всех этих житейских гадостей, что не заметила даже тени неуместности подобного вопроса и горячо ответила:

— Уверяю вас, я сразу испугалась его, как только он сел рядом со мною.

— Но хуже всего, — перебил ее Аларин, — что у нас ни одна женщина не может быть гарантиро-

вана от подобного рода неприятностей. Ведь здесь проглядывает самое грубое сознание превосходства физической силы, а между тем я знаю многих образованных и даже гуманных людей, которые не стыдятся проделывать почти то же самое.

— Но ведь это ужасно! — возразила барышня. — Как же порядочный человек может позволить себе?..

— В том-то и дело, что здесь полное отсутствие какой бы то ни было порядочности. Конечно, люди, о которых я сейчас сказал, не выражают так грубо, как этот кавказец, своих низменных инстинктов, но все-таки... Я, право, не могу решить, догнали ли мы в этом отношении чересчур быстро Европу, или это остатки старинного русского неуважения к женщине!

Александр Егорович в эту минуту совершенно искренно позабыл о кое-каких своих похождениях.

— Но если некоторые сознают это, почему же они не постараются как-нибудь подействовать на других? — спросила девушка. — Ну, писать, что ли, об этом?

— Пишут, — сказал Александр Егорович, — отовсюду слышатся голоса, ратующие за то, чтобы женщина заняла в обществе принадлежащее ей по праву место, отнятое у нее работодителем-мужчиной. Но это, по-моему, смешно. Здесь нужны коренные реформы в семейном и общественном воспитании целых поколений, а не жалкие возгласы.

Аларин с удовольствием высказывал эти обиходные истины. Он умел и любил говорить только тогда, если вокруг него не было слушателей, кото-

рых он инстинктивно считал бы сильнее себя. Сосредоточенное внимание сидевшей перед ним девушки, представлявшей олицетворенную неопытность и наивность, делало его развязным.

Кроме того, он был не чужд любования собою и своим голосом, свойственного очень молодым, в особенности красивым людям, которые, оставаясь даже совершенно одни, постоянно воображают, что на них кто-то с любопытством смотрит, и ведут себя точно на сцене. Они являются перед собою то разочарованными, пресыщенными циниками, то современными дельцами, с полным отсутствием принципов и с девизом «нажива», то светскими денди, свысока глядящими на род человеческий, но всегда чем-нибудь красивым и выдающимся. Та или другая роль зависит от настроения духа или прочитанной книжки, что, впрочем, не мешает в них вырабатываться собственным оригинальным качествам. Теперь вот, разговаривая со своей соседкой, Аларин чувствовал себя пожилым мужчиной, относящимся с симпатией и жалостью к этому наивному ребенку.

— Да, — продолжал он, увлекаясь собственными словами, — у нас вот и электричество, и гипнотизм, и все кричат, что человечество прогрессирует, а поглядите, в каком положении во всех цивилизованных странах находится женщина.

И он легко и быстро очертил современное положение женщины, черпая мотивы из недавно прочитанной модной повести. Он с эффектной, деланой злобой говорил о том, к чему готовят ее с пеленок, как извращают воображение и приучают к роскоши.

Для его собеседницы все это было совершенной новостью, она ловила каждое слово и притом невольно любовалась красивым лицом Аларина с его блестящими от оживления, черными, притягивающими глазами. Это, после институтских учителей и швейцаров, был первый «настоящий» мужчина, которого она видела.

Аларин коснулся тех «жалких обрывков познаний, которые западают в юную женскую головку». Он описывал все это очень удачно в карикатурных гиперболах и вдруг перебил самого себя.

— Извините, — сказал он смущенно, — вы, если я не ошибаюсь, бывшая институтка! Поверьте, что я не хотел сказать ничего обидного...

— Нет, нет, пожалуйста, продолжайте, — возразила девушка, — вы все это так хорошо знаете. Представьте себе, у нас даже русским языком никто не интересовался.

— А занимались тем, что сшивали тетрадки розовыми ленточками с надписью «Souvenir». Или приклеивали на первой странице целующихся голубков? Да?

— Вы и это даже знаете?

— Знаю. А в библиотеке ничего, кроме произведений madame Жанлис, конечно, не было?

— Ах, эта противная Жанлис. Мы просто ненавидели ее и называли ее именем одну сердитую классную даму. Пушкина нам только в первом классе стали давать и Тургенева кое-что. Правда, прелесть Тургенев?

— Как вам сказать, — не утерпел Аларин, — у него, пожалуй, многое и в архив можно сдать?

— О нет! Не говорите так! — протестовала она. — «Записки охотника» — это... я вам не сумею передать, это — божественно! Я «Накануне» читала летом на загородной даче, целые дни читала. Утром из-под подушки выну и целый день не расстаюсь с ними. Даже за обед ухитрялась приносить, конечно потихоньку, чтобы не заметила madame Швейгер...

Но Аларина мало занимали ее рассказы, потому что он сам говорил не для нее, а для собственного удовольствия.

Его поразил ее свежий, серебристый голос.

— Скажите, пожалуйста, вы не поете? — неожиданно спросил он.

Барышня вспыхнула и, как-то совсем по-институтски, взглянув на него исподлобья, спросила:

— Почему вы это узнали?

— У вас такой чистый и полный голос, и тембр такой богатый. Я только поэтому и предположил. Но вы все-таки поете?

— Да, я немного училась. Monsieur Орлов, наш учитель пения, говорил мне, что если я поработаю над голосом, то могу выступить на сцену. Но я ужасно стыжусь петь. У нас на Масленице был концерт, и я пела в мендельсоновском дуэте: «Хотел бы в единое слово излить...» Вы слышали его?

Аларин в музыке ровно ничего не понимал, но ответил, что, к сожалению, этого дуэта не слышал, хотя обожает Мендельсона.

— Это очень известный романс, — заторопилась барышня. — Вы, верно, слышали...

Хотел бы в единое слово излить
Я, что́ на сердце есть! —

пропела она вполголоса первые две строчки и вдруг, спохватившись, покраснела до слез.

Аларина эти десять нежных, дрожащих нот привели в восторг.

— У вас чудный голос, — сказал он совершенно чистосердечно, — на меня пение еще никогда не производило такого впечатления, как эти несколько звуков. Как бы я хотел услышать вас с аккомпанементом!.. Вы, впрочем, извините, я до сих пор не знаю вашего имени!.. — прибавил он полувопросительно.

Они назвали друг другу свои имена и фамилии. Барышню звали Зинаидой Павловной.

— Вы до какой станции едете, Зинаида Павловна? — спросил Аларин.

— Я прямо в Р*.

— Неужели? Представьте себе, мы едем в один город. Ведь это положительно судьба, что мы с вами попали в один и тот же вагон и так хорошо разговорились.

Он, конечно, сказал про судьбу единственно «для красоты слога», но, склонная к мечтательности, Зинаида Павловна серьезно увидела в этих случайностях действие предопределения и внезапно после его слов ощутила какую-то тихую, бессознательную радость. Точно она узнала, что там, в далеком, чужом городе, у нее будет близкий человек, который поддержит и защитит в случае надобности.

— И вы, по всей вероятности, едете в Р* к родным? — продолжал расспрашивать Аларин.

— Нет, — отвечала она и запнулась. — Я еду туда гувернанткой...

И, быстро вскинув на него глаза, точно желая удостовериться, нет ли на его лице улыбки, она продолжала:

— Вы знаете, к нам в институт присылают для пепиньерок предложения, но я от многих больших городов отказалась, потому что думала поступить в консерваторию; только это ужасно дорого, а для стипендии надо иметь большую протекцию. А у меня мама... совсем без средств...

По институтским традициям Зинаиде Павловне было тяжело признаться в бедности матери, но Александр Егорович производил на нее впечатление такого хорошего, сердечного человека, которому можно было рассказать «все».

— Так вам и улыбнулась консерватория? — спросил Аларин.

— Да, так и улыбнулась. Моя подруга Посникова поступила, ее тоже Зиной зовут... У нее самый простой комнатный голос, но она... хорошенькая... понятно, ей нетрудно...

Последние слова барышни звучали самой неподдельной, наивной грустью.

— Ну вот, и я должна была принять первое попавшееся место, — продолжала она, — хотя даже не знаю условий. Вы, может быть, знакомы с этим господином... фамилия его Кашперов?..

Аларин, живший в Р* уже два года, не мог не знать Кашперова.

— Скажите, пожалуйста, что это за человек, то есть кто он такой? Чем он занимается? Много у него детей? — засыпала она вопросами Александра Егоровича.

— Да не торопитесь так, я не знаю, на что отвечать. Кашперов, про которого вы спрашиваете, вдовец, у него есть маленькая дочка, необыкновенно капризное насекомое, которое раз укусило меня за палец. Сам Кашперов человек, безусловно, честный и собою красив, так что за ним до сих пор барыни бегают: представьте себе, седые волосы и черная борода. Какой он образ жизни ведет? Конечно, как подобает вдовцу и богатому человеку; ведь он, между прочим, страшно богат, но денег своих не прячет и делает на них много добра. Вообще он человек не совсем обыкновенного десятка. Впрочем, вы это сами увидите.

— Да, — задумчиво произнесла Зинаида Павловна, — воспитание — очень серьезное дело!

— Ну, что касается воспитания, то я положительно отвергаю его, — сказал Аларин.

— Как отвергаете? У нас сам инспектор читал педагогику и столько говорил об ее великих задачах.

— Поверьте, что он сам в это время над собой смеялся, — шутливо перебил Александр Егорович.

— Какой вы злой!.. Ну, так не будем говорить о воспитании. Вы давно живете в Р*?

— Нельзя сказать, чтобы особенно давно, но мне каждый камешек в нем опротивел. Притом вы, должно быть, слыхали о нашей грязи. У нас однажды исправник с целой тройкой лошадей утонул в грязи перед городским клубом, только об этом запретили

в газетах печатать. Но у нас и кроме грязи много замечательного. Во-первых, рысаки, похожие на выкормленных купцов, и, во-вторых, купцы, близкие к первобытному состоянию. Замечательно, что в этом богоспасаемом граде живешь, как в фонарике. Представьте себе, я не только всех жителей, но даже их собак знаю по кличкам. Точно так же всему городу известно, что у меня к обеду готовится и о чем я вчера разговаривал по секрету со своим приятелем. Зато уж если наши провинциальные премьерши примутся кому-нибудь перемывать косточки, то делают это с неподражаемым совершенством, тем более что тем для такого занятия бывает много, ибо город изобилует легкими и приятными нравами.

— А вы сами, кажется, служите? что это у вас за форма? — осведомилась Зинаида Павловна.

— Я больше по инженерной части состою... говорю «больше», так как на пристани, в порту, где, собственно, и есть место моих занятий, я существую только в виде декорации. Но у меня много частных работ; вот Кашперов ко мне тоже часто обращается.

Аларин любил говорить о себе и потому с удовольствием посвятил новую знакомую в подробности своей жизни, но когда он вскользь упомянул о матери и Зинаида Павловна наивно спросила, кто был его «рара», он осекся, и кровь бросилась ему в лицо.

Однако вдруг им овладело неудержимое желание сейчас, сию минуту рассказать все до мельчайших подробностей этому чистому существу.

— Знаете ли, — произнес он медленно и значительно, — я этого никому еще не говорил, но вы,

я знаю, добрая, вам не будет смешно... Я — незаконнорожденный!

Она сначала не поняла его, но потом ей стало жаль Александра Егоровича той особенной, болезненной жалостью, которую возбуждает калека или тяжело больной человек. Она поняла, что этого пункта нельзя касаться, и продолжала молчать.

А он, преодолев первую неловкость, рассказал ей подробно всю свою биографию, причем говорил так горячо, искренно и жалея в эту минуту самого себя, что у Зинаиды Павловны сжималось сердце.

— Ну вот, вы теперь все знаете обо мне, — закончил Аларин свой рассказ. — Это я только вам одной говорил, потому что вы не употребите во зло моего доверия... Поглядите, какая чудная ночь! — воскликнул он вдруг, заглянув в окошко.

Они оба прислонились к окну, так что их головы почти касались.

А ночь действительно была необыкновенно хороша. Ветер разогнал тучи, и луна сияла на чистом темно-синем своде. В ночном пейзаже было что-то сказочное. Лужайки, окруженные кустами и залитые потоками лунного света, казались бездонными озерами; стройные прозрачные березы дремали, точно заколдованные тихой ночью. И все это призрачное, обольстительно-прекрасное царство света и теней показывалось на одну минуту и исчезало, давая место новым картинам.

— Чудная ночь, — почти шепотом повторил Александр Егорович, — не правда ли, в ней есть что-то таинственное?

— Да, таинственное... и грустное, — отвечала Зинаида Павловна, и Аларин услышал в ее голосе дрожь.

— Нет, зачем же грустное, — перебил он, — в этикие ночи мною, наоборот, овладевает прилив какой-то неуправляемой отваги; теперь бы коня, и — мчаться где-нибудь в степи так, чтоб захватывало дух... Однако скоро будет светать, и вот уже огоньки нашего Р* виднеются. Собирайтесь, Зинаида Павловна, почти домой приехали.

Поезд подходил к Р*. На станции, где сходились три ветви железных дорог, была страшная суматоха. Аларин вывел растерянную и озябшую Зинаиду Павловну на крыльцо вокзала.

— Телеграфировали вы Кашперову о приезде? — спросил он, останавливаясь.

— Да.

— В таком случае должен быть экипаж! — И он закричал во все горло: — Лошади Кашперова!

— Здесь! — ответил чей-то голос.

К крыльцу подъехала щегольская коляска, запряженная парой серых видных лошадей.

— Барышня приехали? — осведомился кучер, приподнимая шапку.

Зинаида Павловна, пожимаясь от ночного холода, стала прощаться с Алариним. Ей вдруг стало жалко и этой так быстро промелькнувшей ночи, и этого красивого лица, казавшегося совсем бледным при свете луны.

— Прощайте, Александр Егорович, — грустно сказала она, протягивая ему руку. — Как мне благодарить вас?

— Самой лучшей благодарностью для меня будет, — ответил Аларин, ласково смеясь, — если вы обратитесь ко мне в случае надобности.

— Непременно!

Лошади дружно тронули, и коляска загремела по камням мостовой.

III

Зинаида Павловна проснулась раньше всех в доме, несмотря на то что накануне легла очень поздно. Проснувшись, она не могла сразу сообразить, каким образом попала в эту уютную, нарядную, как бонбоньерка, комнату, обитую розовым кретонном. Вчера она так была утомлена дорогой, что едва только коснулась головой подушки, как в ту же минуту заснула крепким сном усталого человека.

Ей не хотелось тотчас же одеваться, потому что ленивая утренняя нега овладела всем ее существом, и в памяти носилось бесформенное воспоминание чего-то светлого и хорошего.

«Что ж такое у меня есть приятного? — старалась припомнить Зинаида Павловна, — может быть, эта комнатка?»

Комната действительно была очень красива, но от изящной отделки веяло чем-то совершенно чуждым; этот кокетливый будуар не выдерживал никакого сравнения с тесной, обитой дешевенькими обоями комнатой Зинаиды Павловны в Москве... Может быть, рояль, который она видела вчера, проходя ряд больших, со вкусом обставленных комнат,

произвел на нее такое приятное впечатление? Нет, не рояль, — она тогда же подумала, что будет неловко перед хозяином часто играть на нем... Или те шесть новеньких полуимпериалов — подарок мамы при последнем прощанье, — которые она так часто пересматривала, любуясь их ярким блеском?

И вдруг в воображении девушки мелькнуло бледное от лунного света, прекрасное лицо с черными смеющимися глазами.

«Это — Аларин!» — чуть не вскрикнула, обрадовавшись, Зинаида Павловна и сама тихо улыбнулась тому, что назвала его по фамилии.

— Милый, хорошенький, красавчик мой! — прошептала она, прижимаясь лицом к подушке с неопределенной улыбкой. — Какой у него голос славный: мягкий такой и задушевный. Любят ли его женщины? Да, конечно, любят! Разве можно его не любить? Когда он говорит или смеется, его глаза так и смотрят в душу, точно ласкают... Он, видно, очень, очень умный; когда он говорит, его можно заслушаться...

Зинаида Павловна была мечтательницей по призванию. Природа снабдила ее такой пылкой и широкой фантазией, перед необузданными размахами которой ступевывалась самая яркая действительность. Еще будучи в низших классах института, она пристрастилась к чтению. По вечерам, когда классная дама пространно и скучно объясняла ученицам заданный к завтрашнему дню урок математики, Зинаида Павловна тихонько вынимала из стола описание какого-нибудь фантастического путешествия по девственным лесам Америки или пустыням Аф-

рики, раскладывала его на коленях и жадно погружалась в чтение, причем этот таинственный, сказочный мир увлекательного рассказа, полный жизни и благоуханий, заставлял ее забывать не только страх остаться на целый месяц без передника за невниманье к научным истинам классной дамы, но и все, что только хоть немного напоминало действительность, переставало существовать для нее в эти блаженные минуты. Стены класса раздвигаются на бесконечное пространство... звезды... громадная кровавая луна показывается из-за горизонта безбрежной пустыни, и везде одна и та же нескончаемая даль, покрытая горячим желтым песком... Луна выплывает в самую середину неба... пустыня кажется окутанной белым туманом... Мертвая тишина не нарушается ни единым звуком... И вдруг рев льва, могучий и величественный, потрясает воздух...

— Колосова, повторите все, что я сейчас объяснила, — раздается в то же время скрипучий голос.

Зина вскакивает, растерянная, ничего не понимающая...

Перед ее глазами опять грязная, измазанная мелом комната, тускло освещенная шестью казенными лампами; несколько десятков утомленных детских лиц с улыбкой глядят на ее замешательство, пред нею зеленая, повязанная косынкой физиономия наставницы.

— Извините, я не поняла... мне было не слышно, — пробует оправдаться Зина.

— А! Вам неудобно слушать мои объяснения, — скрипит классная дама, — покажите мне ту книгу, которая была у вас на коленях!..

С летами грезы Зинаиды Павловны приняли более жгучий характер; особенно сильно повлияли на нее в этом отношении лекции истории, которую увлекательно читал симпатичный, знающий учитель. Зина слушала его со сверкающими глазами и полуоткрытым ртом, а он в минуты своих горячих импровизаций обращался к ней одной. Его объяснения не прошли даром для Зинаиды Павловны. По ночам она до мельчайших подробностей переживала все то, что ей приходилось узнать днем. Описание блеска и роскоши средневековой жизни, победы и завоевания римских цезарей гораздо меньше шевелили ее воображение, чем пассивный героизм мучеников идеи. Она так живо вызвала в своем воображении казнь Иоанна Гуса, что плакала и молилась всю ночь до утра. Она обожала Жанну д'Арк и иногда находила в ее образе и поступках много общего с собой; ей тогда начинало казаться, что и в ее груди таятся и зреют до нужной минуты могущественные силы, назначенные судьбой для каких-то великих целей. Ею овладевала тогда страшная жажда самопожертвования, желание совершить неслыханно-громадный подвиг, радостно отдать свою молодую жизнь во имя чего-то далекого и прекрасного.

Иногда Зинаида Павловна проводила целые ночи, не отрывая взора от какой-нибудь яркой звезды, между тем как в ней самой трепетали такие фантастические мечты, в которых она сама не сумела бы дать себе отчета. Весь день после такой ночи она ходила бледная, точно разбитая, на вопросы подруг говорила, что у нее болит голова, но своих задушев-

ных грез никогда никому не поверяла. Вообще она никогда не была слишком откровенна, но каждый, кто только встречался с ней, невольно чувствовал в ней присутствие ее собственного внутреннего мира, а также то, что она в это святая святых, наверно, никого не пустит.

Зинаида Павловна долго лежала неподвижно, погруженная в свои неясные грезы, и все время задумчивая улыбка не сходила с ее лица. Она думала о том, сколько оскорблений вынес Аларин вследствие каприза своего пресыщенного, развратного отца. Он боится насмешки; да разве можно смеяться над этим? Ведь это все равно что смеяться над человеком с оторванной ногой, над уродом от рождения! У него в речах слышится злобное презрение к людям... он, верно, не встречал еще ни разу любящей, нежной души, которая сумела бы понять и оценить его и заставить забыть все оскорбления!.. Что, если бы Бог подарил это счастье ей!.. Какими заботами, какой нежной предупредительностью окружила бы она Аларина!..

И ее пылкое воображение в одну минуту нарисовало сцену безмятежного счастья.

Он возвращается со службы веселый и проголодавшийся. Она ждет его, с нетерпением поглядывая на часы; она нарочно заказала к обеду его любимые кушанья. За обедом он рассказывает ей все, что видел днем, пересыпая свой разговор веселыми шутками и красноречивыми взглядами. Она его внимательно слушает, не забывая, однако, о своих хозяйственных обязанностях. Когда они встают из-за стола, уже начинает темнеть. Они привыкли